

Если «Чевенгур» и «Котлован» живописали романтический бред первых лет революции, то в «Счастливой Москве» речь идет о победителях, живущих «в принципиально новом и серьезном мире» (по замыслу автора).

Москва — не название города, а невероятное имя героини — меняет одного за другим любовников-технократов. В духе времени ее влекут социальные действия, прыжки с парашютом, строительство метрополитена — в конце романа она калека, живущая с разочарованным революционером, ставшим нищим, настойчивым

ЛИТЕРАТУРА

попросту «плывет», тараща глаза. Он из другого мира. У него плохо с терминами. Если он их понимает, это еще хуже, потому что они все у него переименованы по-своему или перевернаны, и нужен невозможный, по сути, словарь.

Однажды в русской литературе что-то подобное наблюдалось с Гоголем: у того тоже путались ноги и руки. Желая пойти с левой ноги, он шел с правой руки и след от этой походки оставил загадочный.

Но Гоголь скорее не платонов-

водимостью на другие языки, что только подчеркивает диагноз.

Непереводимость — клиническое свидетельство распада логических связей, грамматического коллапса, синтаксической несоместимости. Однако Гоголь и Платонов непереводимы по-разному. Гоголевские архетипы можно взяться пересказать, в качестве аналогий делая наугад настойку из универсальных пороков и мировых образов. У Платонова и этого нет. Нет архетипов, нет точек соприкосновения с привычным масштабом. Их «невозможный» язык по-разному невозможен.

С КЕМ СПАЛА СЧАСТЛИВАЯ МОСКВА

сладоустраником. Другие обладатели Москвы тоже сбились с пути.

Ура?!

Из всех писателей, которых выбросила на лотки букинистов горбачевская гласность, Платонов — самый чудесный случай. До сих пор не верится, что такой писатель вообще возможен.

Если других, с сочувствием или равнодушно, можно развинтить, распороть и увидеть, из чего они сделаны, чем набиты их головы, зачем они плачут и куда идут, то Платонов сопротивляется критической вивисекции с упорством марсианина.

Наверное, он и есть марсианин, запущенный на русскую землю удивить народ неслыханным писательским идиотизмом. В сущности, он не справился ни с одной задачей, которая делает писателя писателем. Он не произвел ни идей, ни идеалов. У него, как в микеланджеловской предсмертной «Пиете», образ налезает на образ, все смешалось в какой-то мраморной каше.

Даже идеологический его портрет на фоне совершенно ясной эпохи не проступает, не оформляется. Кто он: «наш» или «не наш», либерал или мракобес? Розанов играет в эти понятия, смешивая политические карты. Платонов

Извлеченный из семейного архива дочь Платонова и опубликованный в умирающем «Новом мире» осенью 1991 года роман «Счастливая Москва» стал, по-моему, главным литературным событием прошлого года, которого, впрочем, никто не заметил. Изъеденная многопартийной молью, русская критика предпочитает бегать и драться на задворках литературы. Роман-событие обязан не только имени автора, но и силе самой книги, которая написана в середине 30-х годов.

ский родственник, а похожий умственный инвалид. Общее у них есть и в инвалидном отношении к основному чувству, или к любви. О любви они писали отборную ахинею, любовь им не давалась в руки, выскальзывала, как рыба.

Оба наказаны совершенной непере-

Платоновский язык можно назвать языковым коллективным подсознанием русского мира и, отблагодарив Юнга, перевести дух. Но если еще «Чевенгур» с «Котлованом» сюда кое-как подверстываются скорее всего по принципу «подсознательной» эпопеи, то вполне индивидуалистическая «Счастливая Москва» с ее распадом коллективных связей самых разных уровней в такую концепцию никак не вменяется.

Может быть, обратиться к известной хайдеггеровской мысли о том, что мир шел по неверному пути, начиная с досократиков, и именно потому уперся в ту языковую стену, о которую и бьется платоновское слово, повествуя неважно о чем?

Если «нормальный» писатель не чувствует это языковое неблагополучие, сохраняя искусственные логические конструкции по классической инерции, которая создает иллюзию жизни и помогает кое-как выжить, то Платонов, как раз не внедрившийся во весь этот интеллектуальный хлам, чувствует «правильное», не испорченное паллиативом культуры слово, а потому несет дичь.

Заумь и дичь от Малларме до Введенского, не говоря уже о сюрреалистах, есть частный спор с культурой в культуре, то есть

склока в благородном собрании или в пролетарской коммуналке, выяснение в лучшем случае метафизических отношений, в то время как Платонов окончательно глупеет от своих откровений: «Я выдумала теперь, отчего плохая жизнь у людей друг с другом. Оттого, что любовью соединиться нельзя, я столько раз соединялась, все равно — никак, только одно наслаждение какое-то... Ты вот жил сейчас со мной, и что тебе — удивительно, что ли, стало или прекрасно? Так себе... (...) У меня кожа всегда после этого холодеет, — произнесла Москва. — Любовь не может быть коммунизмом; я думала-думала и увидела, что не может... Любить, наверно, надо, и я буду, это все равно как есть еду, — это одна необходимость, а не главная жизнь».

Счастливая Москва спала с социализмом, то есть с совокупным мужским героем романа, а этот герой через ошибки шел к пониманию сущности жизни: «Самбинкин ошибался, когда указывал душу мертвого гражданина, помещенную в пустоте кишок между калом и новой пищевой начинкой (...) Если бы страсть жизни средоточилась лишь в темноте кишок, всемирная история не была бы так долга и почти бесплодна (...) Нет, не одна кишечная пустая тьма руководила всем миром в минувшие тысячелетия, а что-то другое, более скрытое, худшее и постыдное, перед чем весь вопиющий желудок трогателен и оправдан, как скорбь ребенка (...) Но теперь! Теперь — необходимо понять все, потому что либо социализму удастся добраться во внутренность человека до последнего тайника и выпустить оттуда гной, скопленный каплями во всех веках, либо ничего нового не случится и каждый житель отойдет жить отдельно, бережно согревая в себе страшный тайник души, чтобы опять со сладострастным отчаянием впиться друг в друга и превратить земную поверхность в одинокую пустыню с последним плачущим человеком...»

Первого не случилось. Социализм оказался онтологическим импотентом. Либеральное сознание ликует. «Счастливая Москва» — интересное чтение.